Новиков В.

20/I 87г

Обстрел на Невском

В Таврическом саду, неподалеку от Таврического дворца, установлен памятник юным героям обороны Ленинграда.
Когда встал вопрос о месте для памятника, предложение соорудить его в Таврическом саду было принято единогласно. Юные ленинградцы заслужили такую честь. Свыше десяти тысяч детей от девяти до четырнадцати лет получили медаль «За оборону Ленинграда». На бюро горкома комсомола было принято решение: памятник выстроить на деньги, собранные ленинградскими пионерами.
В городе начался невиданный сбор металлолома и макулатуры. В это время скульпторы В. Новиков, И. Котюхин и архитекторы А. Алымов и Ф. Гепнер разрабатывали проект памятника. Его сделали не из бронзы, не из гранита. Материалом памятнику послужил московский известняк, белый, как снег. На торжественной церемонии открытия скульптор М. Аникушин сказал: «Такие светлые памятники делаются чистыми руками». Он был прав.
В дни сорок четвертой годовщины прорыва блокады Ленинграда мы публикуем воспоминания одного из авторов памятника — Виктора НОВИКОВА. Ему было двенадцать лет, когда началась блокада. Не случайно одна композиция скульптора названа «Обстрел на Невском».

— Умирать в двенадцать лет, конечно, не хотелось. Но, если признаться, по правде, я устал от страха. Страх меня преследовал: думалось — а вдруг это случится ночью и к утру мать найдет меня мертвым.

— Я ложился в брюках и свитере на тот случай, если за мной на дровнях приедет известный всему поселку дядя Вася. На обязанности дяди Васи лежало ежедневно объезжать наш Лисий нос, собирать по домам мертвецов и отвозить их на Горское кладбище. Решение не снимать брюки и свитер я принял после того, когда из окна сквозь продышенный в промерзшем стекле глазок увидел такую картинку.

— Дядя Вася в то утро был занят своим обычным делом: бросал на сани семью из соседнего дома. Их было человек шесть, все замороженные, видимо, умерли несколько дней назад. Последним дядя Вася вынес моего соседа по парте. Приятель был в трусах и майке и казался длинным-предлинным. Я живо представил себе, как дядя Вася медленно спускается по крутой темной лестнице, крепко прижимая к себе полуголое тело, которое норовит выскользнуть.

— С тех пор я спал одетым. В то утро я бы еще, конечно, потянул сладкие минуты расставания с теплой, нагретой за ночь постелью, но вдруг услышал стук в дверь. Внизу стучали настойчиво и твердо. С трудом засунув отекшие ноги в валенки, я стал медленно спускаться по крутой деревянной лестнице вниз, к входной двери. Дверь была закрыта на крюк, который плотно входил в скобу. Неделю назад я без труда открывал дверь. А сегодня уже не мог: не хватало сил. Наверное, я так и не справился бы с дверью, если бы человек, который стучал, не нажал снаружи. Крюк ослаб, и дверь отворилась.

На крыльце стоял мужчина. Козырек ушанки низко спускался на глаза, шерстяным шарфом была замотана не только шея, но щеки и нос. Сколько я ни всматривался, узнать никак не мог. Мужчина, видимо, понял это. Одним движением руки освободил лицо от шарфа, одновременно воскликнул: «Батеньки мои, меня не узнал!» После этого столь знакомого «батеньки мои» я все понял. Передо мной стоял до предела исхудавший, с впалыми щеками и темными кругами под глазами Иван Федорович Славиков — учитель русского языка и литературы.

Он схватил меня за руку и крепко держал, все повторяя: «Витя, ты жив! Надо же? Жив!» Наконец, удостоверившись, что я не привидение, учитель скомандовал, как бывало, коротко и неумолимо: «Одевайся, пойдем в школу!»

Я предложил Ивану Федоровичу подняться наверх, в нашу единственную во всем доме обжитую комнату, обогреться, попить кипятку. Учитель с тоской посмотрел на лестницу и тихо, но твердо сказал: «Не подняться мне».

Я один потопал наверх. Затопил буржуйку, покормил мать, оделся и спустился к Ивану Федоровичу. Все это время он терпеливо ждал меня в тесном тамбуре между дверью и лестницей. «Нашел-таки живого. Весь поселок обошел. Где дома стоят пустые, а где лежат одни мертвые, а тут надо же, живой!» — говорил учитель, пока я медленно сползал по нашей крутой лестнице.

Перед самой школой Иван Федорович остановился, освободив лицо от шарфа, посмотрел мне прямо в глаза: «Ты знаешь, что в школе госпиталь. Раненых сюда привозят прямо с передовой. Несколько дней назад там, на передовой, появились фашистские листовки. Эти гады призывают наших красноармейцев сдаваться в плен, пишут, что положение Ленинграда безнадежно: в городе якобы все умерли от голода, не осталось ни одного живого ребенка. Но вот ты — живой! Надо, чтобы раненые посмотрели на тебя. Им это очень сейчас важно... Витя, ты все понял?»

Школа была набита ранеными. Они лежали на койках, на брезентовых раскладушках, а некоторые из вновь прибывших прямо на полу. Среди лежащих маячили фигуры на костылях или с подвязанными на марлевых повязках руками. Я так растерялся, что не сразу догадался снять шапку. И вдруг услышал, как по коридору, заставленному койками, пронеслось: пришел, пришел.

Я почти ничего не говорил: просто не успевал. Меня тянули во все стороны. Каждый хотел подержать меня за руку, сказать доброе слово. Скоро от восклицаний,— можно было подумать, что герой я, а не они,— от всеобщего возбуждения я очень устал. Очевидно, Иван Федорович заметил это. Улучив минутку, шепнул: «Держись, у нас еще второй этаж!»

Я пришел в себя в жарко натопленной комнатке начальника госпиталя, где нас ждал настоящий обед из трех блюд. На прощание нам вручили по большому пакету: новогодний подарок, как было сказано. Ведь на календаре значилось: 28 декабря 1941 года.

Закончив рассказ, Виктор Сергеевич с сожалением посмотрел на отполированную временем поверхность самодельного стола, потом на свои руки, неспокойные, поглощенные заботой, и горестно покачал головой. Стало ясно, что наш собеседник не просто ворошил память, возвращаясь к тем декабрьским дням сорок первого года, а искал новый образ, правдивый и беспощадный. Искал, но пока еще не нашел...

— Первый месяц нового сорок второго года не принес облегчения. Стояла лютая стужа. Раскаленная добела буржуйка согревала комнату всего на несколько часов. Беспокойство о дровах приравнивалось к заботе о хлебе. Положение спас соседний пустовавший домишко. По бревнышку стал переносить его в свою ограду. В соседней ограде заготавливал чурки для своей печки дружок Сережка Канцеров. Перебрасывались короткими фразами. Сил на долгие разговоры не было.

В конце января Сережка перестал появляться на улице: дров не колол, воды не носил. С неделю я выжидал. В душе поселилась тревога: не случилось ли самого страшного. Решил навестить Канцеровых. С трудом вскарабкался на обледенелое крыльцо. Что это? Дверь полуоткрыта, ветер гуляет в комнате, шелестит страницами раскрытой книги. Рядом с книгой — опушенный инеем красавец фикус, былая гордость Канцеровых. В голове пронеслось: фикус не уберегли, значит, живых в доме нет.

Но вот в дальнем углу на кровати кто-то шевельнулся. Подошел, пригляделся: да это же Сережка! Обрадованно вскрикнул: «Ты живой!»

— Живой-то живой,— безучастно отозвался Канцеров,— вот один остался.

Предложил: может, буржуйку растопить, кипяточку согреть...

— Нет, не надо,— закрутил головой Сережка.— Ты мне лучше почитай... нашу любимую.

Рука сама потянулась к полке над кроватью. Здесь Сережка еще до войны наладил держать «уважаемые», как он говорил, книги. Вот она — любимая, в темно-красном переплете, с золотыми буквами. Смешные страницы открывались сами собой, заложенные обрывками промокашек.

Сначала Сережка смеялся, потом как-то странно хихикнул и вдруг затих. Закрыл глаза, и все.

Через сорок лет в ярко освещенном выставочном зале мы подошли с Новиковым к его последней работе в дереве. На низком подиуме, вытянувшись, лежал подросток, а над ним, распрямив узкую грудь и подняв голову, словно давая клятву, стоял другой, с книгой в руке.

— Вот только не помню, на какой странице «Тома Сойера» Сережка умер,— тихо сказал Виктор Сергеевич.— Впрочем, это не так важно...

С утра все было, как обычно: мать хозяйничала по дому. Она уже с зимы начала немного ходить. Правда, еще неуверенно, держась за стенку, за стол, за стулья, но все-таки была на своих ногах. А я копал огород.

Вдруг мы услышали голос соседа. Он кричал через забор: «Витя, победа!»

И тут со мной что-то произошло. Я словно ошалел. Прыгал, скакал по грядам, в одну минуту превратив свою работу в ничто. А рядом, закрыв лицо руками, плакала мать.

Потом я сорвался и побежал на чердак. Там у меня был склад оружия.

Когда я расстрелял весь свой арсенал, то снова вернулся в дом и снял со стены ракетницу. Ракетницей я дорожил. И вот почему. Это было уже в середине войны. Однажды на рассвете в дверь постучали. На пороге стоял парнишка моего возраста, одетый по форме: шинель, пилотка, а главное, на шинели поблескивала медаль. Медаль была не шуточная — «За отвагу». «Командир приказал подготовить помещение для отдыха»,— звонко отрапортовал паренек. Заметив на стене целую выставку моих рисунков, замер: «Как похоже на мой дом. Сожгли фашисты». На листке был изображен зимний вечер, одиноко стоящий домик и свет в окошке. Я снял со стены рисунок и протянул ему: «Спасибо, друг...». Он замялся. «Витя»,— сказал я.— «Вася»,— и он протянул мне руку.

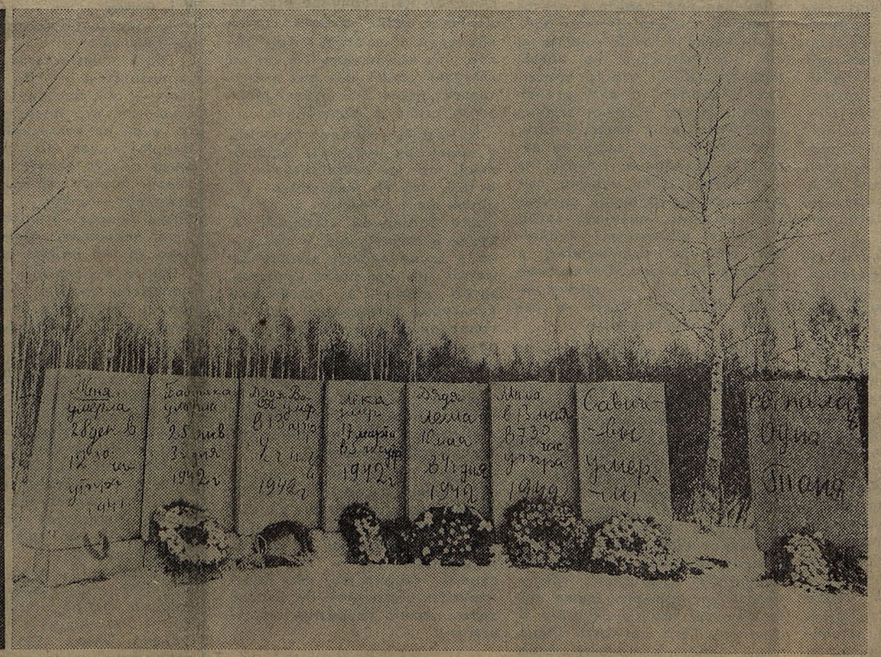
Вечером мы сидели рядышком. Он чистил оружие. Я ему помогал. Не выдержал, спросил: «А как в армию попал?»

— Отцу обязан. Когда нас фашисты на расстрел вывели, у рва поставили, отец шепнул: «Стрелять начнут, пригнись и в ров прыгай». Так я и сделал. А отец две пули принял — свою и мою. Вскоре пришли наши. Меня в часть забрали — круглый сирота,— говорил Вася просто, без всякой рисовки и бахвальства. Говорил, а в руках вертел ракетницу. С утра ракетница не давала мне покоя. Наутро Василий вместе с частью покидал Лисий нос. Я пристроился к шеренге и прошагал рядом с другом через весь поселок. У последнего дома я отделился от строя. И в этот момент, на ходу отстегнув кобуру, Вася кинул мне ее вместе с ракетницей. «В день победы!..» — только и успел я разобрать.

Я выполнил желание друга. В День Победы взвились в ясное майское небо Васины ракеты. А сам Вася не дожил до Победы: погиб, как мне передавали, недалеко от наших мест... Много лет я носил в памяти скупой рассказ о том, как отец спас сыну жизнь. И вот наконец появилась возможность воплотить эту трагическую историю в камне. Мне был заказан памятник погибшим мирным гражданам в Новой Одессе. Здесь во время войны буквально за несколько часов до прихода наших частей фашисты расстреляли все мужское население поселка — от мальчиков до глубоких стариков. В центре композиции я поместил фигуру подростка, который упадет в ров раньше, чем прогремит залп. Роковую пулю вместе со своей примет его отец.

— Про детство принято говорить безвозвратное,— закончил Виктор Сергеевич Новиков.— Пожалуй, это не совсем правильно: детство постоянно возвращается к нам в наших воспоминаниях, а раз так — значит, всегда с нами в наших делах.

Тамара СТАЛЕВА.



● *В. ЧЕИШВИЛИ. «Память жива».*

СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА
г. Москва
20 ЯНВ 1987

146